

Александр Щербаков



ШЕЛОПУТ И КОРОЛЕВА

Моя жизнь с Галиной Щербаковой

Александр Щербаков

**Шелопут и Королева. Моя
жизнь с Галиной Щербаковой**

«ЛитРес: Самиздат»

2015

Щербаков А. С.

Шелопут и Королева. Моя жизнь с Галиной Щербаковой /
А. С. Щербаков — «ЛитРес: Самиздат», 2015

Это первая мемуарная книга о жизни и судьбе известного писателя Галины Щербаковой, прославившейся благодаря повести «Вам и не снилось», экранизированной Ильей Фрэзом и ставшей гимном советских романтиков. Книга, написанная любящим супругом Галины Щербаковой Александром Щербаковым, не просто приоткрывает дверь в биографию автора, но охватывает целую эпоху советского прошлого, в котором существовала и черпала вдохновение Щербакова. Ее необыкновенная жизнь была похожа на сюжеты ее книг, но порой даже превосходила их по степени парадоксальности и удивительности.

Содержание

Первая глава	6
I	6
II	17
III	24
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Эти события происходили на протяжении более полувека.

Я бы не решился превратить свою рукопись в книгу, если бы меня не ободрили некоторые близкие люди, одни из которых засвидетельствовали, насколько могли, фактическую точность изложенного, другие убедили в благостности моего умысла, третьи – подтвердили жизненность рассказа.

Мои «эксперты» живут в пяти странах, им от 40 до 90 с лишним лет. Вот их имена:

Сергей Баймухаметов, Ольга Белан, Виктория Белопухова, Дмитрий Бычков, Леонид Доброхотов, Аида Злотникова, Наталья Копсова, Леонид Лернер, Ирина Мамонова, Андрей Метревели, Олеся Носова, Ильмира Степанова, Александр Терехов, Лена Фролова, Ирина Фунина, Владимир Чернов, Нина Юргенева.

Пускай сойду я в мрачный дол,

где ночь кругом,

Где тьма кругом, -

Во тьме я солнце бы нашел

С тобой вдвоем...

Роберт БЕРНС

Первая глава

I

Если жизни тупое лезвие
Причиняет острую боль,
Дай мне музыку, дай поэзию
Философию и алкоголь.

Я не знаю другой гармонии
В неразгаданном мире этом,
Кроме хмеля Шестой симфонии,
Кроме яда в стихах поэта,

Кроме трезвости категорий,
Кроме мыслей об антимире,
Кроме стопки, выпитой с горя
У кого-то на частной квартире...

Трудно представить, сколько мегабайтов информации (которая сейчас оказалась бы ох как нужной) пронеслись, скажем, за полвека в моем сознании, не запечатлев в конечном счете на флэшках памяти ничего, кроме «ярлыков»: да, что-то было... И сплыло. А вот это стихотворение – нет, не сплыло. Потому что связано, выражусь высокопарно, с новой эрой моего существования. Как бы частное, сугубо личное благовестие.

...Это было не один раз. Я просыпался от беспокойного и в то же время требовательного взгляда.

– Что?

– Я опять испугалась: а если бы мы с тобой не встретились?!

И было совершенно ясно – в этом был бы виноват я. Как, впрочем, все равно виноват в том, что наша встреча не была железно предопределена и оказалась зависимой от каких-то глупых, необязательных, легкомысленных (вот именно) обстоятельств. Вообще, чем этот человек столько лет занимался вместо первейшей в жизни заботы – обеспечить судьбоносное randevu?..

Да уж, легкомыслия в этом сюжете хоть отбавляй.

Вернемся к стиху. К сожалению, тут не обойтись без предисловий.

Поступив в университет, я классно учился только один, первый семестр – из боязни оказаться несостоятельным студентом. А сдав первую сессию, недавний пацан из скромного, не слишком просвещенного барачного уральского городка распустил вожжи, в которых до тех пор держал себя.

Вот свидетельство тому. (*Я, старый журналист еще той школы, стараюсь писать этот мемуар, честно напрягая память, но все же хочу иметь в основании хоть какие-нибудь «письменные источники». Память божится: все, что в ней записано, чистейшая правда. А я уличаю: вот видишь – конверт, на нем штемпель с датой, и она почти на полтора года отличается от той, какую только что выдало воспоминание – с природными и прочими подробностями. Так что я обложился бумагами – от кучи раздобытых писем до трудовых книжек, удостоверений и пропусков в лечебные учреждения.*) Так вот, мой персонаж (то есть я) писал своей знакомой девушке: «А вообще я живу свободно, читаю художественную лите-

ратуру, изредка хожу на лекции. Над собой работать не в состоянии и никак не могу заставить себя работать вообще над чем-нибудь. Если в первом полугодии меня подгонял страх перед первыми экзаменами, то теперь меня вообще ничего не подгоняет. Чувствую, что так жить человеку не полагается, но, тем не менее, покуда не окажусь перед какой-нибудь грозной катастрофой, вряд ли сумею взяться за дело. Таков мой организм, то бишь характер».

Примерно в то же время моя мама мне писала: «Большой организованностью ты никогда не отличался, а упорства у тебя хоть отбавляй, вот я и боюсь, что ты не сможешь должным образом организовать свой режим...» Что правда, то правда. Я тогда безраздельно предался тому, к чему манило всегда. В УрГУ (Уральский государственный университет) мне в то время были милее, скажем, не шлягерные лекции Михаила Китайника, завершавшиеся аплодисментами аудитории, а хор Вадима Борисовича Серебровского, куда я быстренько записался, и в городе Свердловске «моими домами» стали театр оперы и балета, консерватория (там я как-то примостился к кружку критиков, который вела, если мне не изменяет память, Иветта Викторовна Трамбицкая), филармония с шикарным, как я потом понял, оркестром под руководством Павермана и Фридендера.

Мне удавалось втягивать в мои интересы и друзей по общежитию. Помню, как мы с Валентином Логиновым зачем-то выступали в консерватории(!) в дискуссии о творчестве молодых композиторов. А с Леной Доброхотовым мы...

Но тут опять требуется микроотступление. В то время моя жизнь проходила, можно сказать, под знаком потрясения от Шестой симфонии Чайковского. Как одно время выражались наши дети, я «тащился» от нее. И, конечно, не мог не увлечь своего друга в филармонию, когда там в очередной раз Марк Паверман представлял Шестую.

Время от времени в ходе концерта я смотрел на Леню. Он был очень задумчив. Сказал бы, естественно задумчив – при такой-то музыке. А иногда даже что-то шептал...

Надо сказать, что Леня Доброхотов в ту пору был поэтом. Как, наверное, добрая половина нашего курса. А поэты, они такие... Короче, в антракте концерта он мне сказал:

– Послушай, Искандер (так он меня почему-то звал)...

И прочитал: «Если жизни тупое лезвие...» и т. д. Все там, в общем, с точки зрения жизненности было верно (кроме «выпитой с горя»; скорее все же – с радости ветреного существования, будь оно, горе, я бы наверняка запомнил; так что это просто обычный поэтический байронизм).

Но сейчас не об этом. А о том, что, как всегда, подруга всей моей жизни в своих психастенических догадках была абсолютна права: никаких мало-мальски разумных предпосылок пересечения наших судеб *не было*. А было шалопутство и дурачество. Судите сами, для начала всего судьбоносного процесса мне надо было оказаться в Челябинске. Для чего? Зачем?.. И вот тут мы наконец подходим к главному.

Было так. Валялись мы с Доброхотовым, тогда еще поэтом, осенним вечером в своих общежитских коечках, дурью маялись, короче – отдыхали. Заговорили про стишок, так удачно возникший в его мозгу под звуки «Патетической». Потом – про город Свердловск, в котором нам повезло оказаться... И вот тут Леня вздохнул и сказал то, чего я никак не ожидал:

– Знаешь, Искандер, а все-таки Челябинск лучше.

(Доброхотов был челябинцем.)

– Такого не может быть, – удивился я.

– Челябинск уютнее.

– Сомнительно...

– Но ты же там не был.

– Это точно... Знаешь что? А я сам все проверю. Когда поезд в Челябинск уходит?

– В одиннадцать с чем-то.

– Запросто успею, – я уже вдевал ноги в штанины брюк.

Здесь важно знать вот что. Примерно в середине курса своего обучения в Уральском государственном университете я сделал ручкой его классической форме, перешел на заочное отделение и начал свою, как оказалось, бессрочную, любезную моему сердцу редакционную службу. При этом оставался в прежнем общежитии по улице Чапаева, 20 (удивительно, такое при советской власти могло быть только при хрущевской «оттепели»!), с ребятами своего курса сдавал зачеты и экзамены. Но, главное, в класс-то не ходил! Дивная жизнь!

Разговор мой с Доброхотовым случился в понедельник. Свою многотиражную газетку с гордым названием «Резинщик» я, как ответственный секретарь, только что сдал в типографию, до следующего номера времени навалом, редактор Валентин Аполлонович в глубоком запое, а милая Нэля, наш литсотрудник в случае чего прикроет и его, и меня.

Так поутру во вторник я оказался в Челябинске. Вышел из вокзала и пошел куда глаза глядят по улице Цвиллинга. Минут через двадцать, перед каким-то ее нелогичным поворотом направо, увидел вывеску: «Комсомолец», орган Челябинского обкома ВЛКСМ. Почему не зайти?

Оказалось, орган обкома располагался в квартире большого дома (как вскоре я понял – в двух соединенных между собой квартирах). Несмотря на ранний час, кое-кто в редакции был. Меня приветливо встретила женщина средних лет, крупная, с крупными же руками. Вряд ли бы я обратил внимание на ее руки, если бы она не передвигала ими две стопочки бумаг то налево, то направо, безо всякого видимого результата, видимо, машинально. Мы поговорили с ней минут десять о жизни – в основном моей, а потом она, услышав какие-то неровные шаги в коридоре, встала:

– Вот и редактор пришел, вы здесь немного подождите.

И вышла. Как оказалось, Анна Ивановна была зав. отделом пропаганды, которая в отсутствие редактора исполняла его роль.

Она вернулась минут через пять и сказала:

– Иван Сергеевич хочет с вами познакомиться.

Редактор оказался красивым мужчиной со значительным, но в то же время дружелюбным выражением лица. Он не стал тратить время на полагающиеся процедуры знакомства и почти сходу сказал:

– Давайте-ка идите работать в нашу редакцию.

– Но я ведь сейчас работаю, меня сразу не отпустят.

– Сколько времени вам нужно, чтобы уволиться?

– Ну, вы же сами знаете, недели две.

– Значит, через две недели приходите к нам. Добро?..

Собственно, на этом можно было возвращаться в Свердловск. Миссия выполнена. Город, пусть и мельком, увидел, сверх программы – устроился на работу. Но надо было еще выполнить поручение Лени Доброхотова – побывать в его отеческом доме, познакомиться с его родителями, рассказать, как мы славно живем в «столице Урала». Невозможно было пренебречь этой комиссией (см. словарь: «*поручение, возня, хлопоты, заботы*»; «*Что за комиссия, Создатель...*», А.С. Грибоедов). Я как бы наперед знал: здесь поворотный пункт моего существования. Именно в этой точке пространства, где не было абсолютно *никакого* здравого резона ему возникнуть. Кроме стишка: «Если жизни тупое лезвие...»

Не такое уж оно тупое...

Конец октября 1958 года. И я уже сижу на должности литсотрудника отдела пропаганды и агитации. Вернее, не сижу, а брожу по городу и в соответствии с рекомендациями факультетского курса «Информация в газете» зорко высматриваю на досках объявлений и афишных столбах «поводы» для выступлений перед дорогими читателями. У меня есть задание составить для праздничного номера жизнеописание участника октябрьской революции, но уже по

своему опыту службы в многотиражке знаю: на это нужно не более недели. А пока – свободный поиск. И вот пожалуйста вам: в музее изобразительного искусства – выставка к 41-й годовщине Октября. Считай, готовый репортаж. А в театре оперы и балета – открытие сезона, и всего лишь третье в истории города! До сих пор помню первую фразу своей публикации. «Паяцы» – звала афиша». Думаю, можно простить эту стилевую манерность – по молодости автора. Такими «первыми фразами» я еще частенько доставал читателя, вплоть до 65-го, до «Комсомолки», школа которой (Инна Руденко, Аграновский, Голованов, Зюзюкин, Соловейчик, Песков, и еще, и еще...) не одобряла использовать чужие, ставшие расхожими, тронутые дешевизной приемчики.

...Так оно и пошло. Пока однажды в дверь нашего кабинета не вошла неизвестная мне особа, обвела всех нас смеющимся взглядом, сказала – «Здравствуйте» – и ушла.

– Кто это?

– Галка Режабек, наша внештатница, – ответил Виктор Никифоров, ответственный за спорт.

Я не успел разглядеть незнакомку, но понял: она красивая. Однако главным было не это. И я успел уловить это главное.

И опять – отступление.

Примерно за год с лишним до этого со мной случилась необычная история. Впрочем, можно ли это назвать историей? Скорее, казус, фантом.

Дело было в главном здании университета. Я шел в клубную часть, находившуюся на первом этаже. Проходя мимо главной лестницы, увидел сбегаящую вниз девушку. И замер. Каждое ее движение было наполнено какой-то естественной прелестью раскованности, гордая посадка ее головки могла бы отторгать смотрящего, если бы не лучистые, смеющиеся глаза. Светящиеся под неонам локоны черных волос свободно развевались на складках черного же облегающего платья. Она была как образ... счастья.

Сколько секунд я ее мог видеть, пока она сбегала по лестничному маршу?.. Но тут время, видимо, как-то замедлилось, я ее увидел всю, и она впечаталась в память.

Случился укол в сердце: вот она! ОНА.

Но на самом деле время как было, так и осталось. Чудное видение на всех парах спустилось на грешную землю, и пока я что-либо сообразил, растворилось в толпе снующих туда-сюда студентов.

Надо ли говорить, что я пытался ее найти в тот день? И в другие дни приходил, надеясь на чудо. Но это видение мне, видимо, было дано не для обретения чуда. А для того, чтоб запомнить эту секундную боль – укол в сердце и образ счастья.

И надо же, эта мимолетность, эфемерность, о которой и рассказать невозможно, начала мягко, но неумолимо изменять некую ранее сложившуюся определенность в моей голове, а потом, естественно, и в самой жизни.

В восемнадцать-двадцать лет у каждого юноши, независимо от прочих обстоятельств, есть Проблема Девушки. Кардинальная и, я бы сказал, многоаспектная проблема.

У меня были довольно путанные романические отношения, еще со школьных лет, с хорошей девочкой, назовем ее простым именем Люся. А еще (наверное именно вследствие этой путанности и неопределенности перспектив с Люсей) была и хорошая девушка с редким именем, пусть тут она будет Эва. Прямо скажем, в моем свердловском периоде перипетии, связанные с Эвой и, особенно, с Люсей, занимали большую часть моей душевной жизни. Как и должно было быть у всякого молодого нормостеника.

Но именно с неожиданными изменениями во мне самом, о которых я только что сказал, произошло некое превращение. Мне стало ясно, что мое бытие и в первую очередь имеющиеся любовные переживания есть... просто *проживание* жизни. Нормальное, хорошее, здоровое.

«Как у людей». А вот в те секунды – с уколом в сердце – случилось откровение: ведь есть другое! Где-то есть судьба – только моя. И лицо той девушки с лестницы, с ее лучистым, смеющимся взглядом – знак этой судьбы.

Вот же чудо света! Жил себе – и жил бы дальше, принимая и понимая свое существование как проходящее в порядке вещей, а может, даже и счастливое. И – нате вам! Вдруг приоткрывается что-то...

Я и теперь не могу выразить это «что-то». А уж тогда...

Мои труды и дни отнюдь не украсились. Я стал существовать в несколько изменившемся человеческом пространстве, менее интересном: померкла звездность девушек, бывших вокруг меня. Но... пробудился новый интерес ко всему предстоящему; от него, еще несуществующего, иногда замирало сердце. Потому что в нем – *есть и другое*.

Именно так оно, сердце, замерло при минутном появлении «нашей внештатницы». Это было то же, что и у той главной университетской лестницы. И было не важно, похожа или нет челябинская незнакомка на свердловскую. Главное – точное до микрона чувство: это *мое*, и судьба, и красавица, и... ее судьба.

Тут же родился испуг: что есть я перед такой яркой, «шикарной» женщиной? Пройдет мимо – и не заметит. Запросто: как царственная фигура, королева... Но, несмотря на горечь и серьезность этих небезосновательных сомнений, все мое существо окатывала волна радости. Да, на самом деле *есть другое*, *есть она*, и есть доказательство, что это все есть – ее реальное имя!

Тем временем моя производственная жизнь катилась своим чередом. Вот два ее эпизода, как я их передавал в письмах родителям и ближайшим родственникам.

«В понедельник вечером (уже после рабочего дня) наш редактор вдруг страшно всполошился, поднял всех на ноги. Оказывается, в Челябинск прибыл некто Пушкин – какая-то там шишка из ЦК, ознакомился с нашей газетой и заметил, что больше чем за год мы ни разу не написали об уплате членских взносов. С перепугу, очевидно, редактор не нашел ничего лучшего, чем солгать, будто у него в столе лежит большая статья на эту тему и что в пятницу она будет опубликована. И вот мне было поручено превратить редакторскую ложь в истину, то есть в пожарном порядке создать эту статью. Весь следующий день я метался на машине с одного конца города в другой (по объектам строительного треста) – собирал факты.

На другой день я строчил статью, а у меня буквально из-под пера хватили ее и тащили на машинку по листку. Так без всякого чтения и заслали в типографию. Я сам не знал, что там такое получилось, и поэтому поставил псевдоним».

Я нашел эту статью через пятьдесят с лишним лет. Она называется «Дело не в рубле». Написана бойконько. И все бы ничего, если бы еще в ее основе была элементарная правдивость. Дело-то было именно в рубле! Недостача по взносам очень печалила финхозсектор ЦК. Но про это нельзя было говорить вслух.

Совсем другую историю напоминает еще одно письмо домой. Корреспонденция в газете называлась «Почему паспорта лежат в сейфе», в ней говорилось о незаконном удержании на производстве молодых людей против их воли. «Статья написано неважно, – самокритично признавался автор. – Знаменательна тем, что цензура потребовала снять ее из номера. Но редактор проявил твердость, чего я от него совсем не ожидал, и статья увидела свет. После этого в редакцию пришло письмо от директора «Заозёрного» совхоза в очень грубом тоне, где он бездоказательно пытался обвинять меня во лжи. Редактор очень резко ответил ему (вернее, он поручил мне написать ответ и почти без изменений подписал его)».

Между моей командировкой в Верхнеуральский район и днем выхода этой статьи, точнее – даже ее написания, прошло много времени. Непростительно много. Меня в очередной раз

подвела изменчивость времени. Оно снова то ли замедлилось, то ли, наоборот, понеслось куда-то. В свое оправдание могу сказать одно, для этого была причина первостепенной важности.

А случилось вот что. Я прямо с вокзала пришел в родную редакцию (да, она уже стала такой – газетчики поймут меня), а там ходит (именно ходит), как по своему дому, «Галка Режабек, наша внештатница». Только она уже в штате – учетчик отдела писем. И по всей «квартире» – напомним, наша контора располагалась в нормальном типовом жилье – то и дело можно было слышать: «Галка, Галке, у Галки...» То есть она уже здесь, и она здесь – своя! Пока я в глубинке вникал в особенности личностей парней из МТС (машинно-тракторная станция) и в каверзы партийно-хозяйственных бюрократов, в областном центре молодая учительница литературы решила раз и навсегда покончить со своей школьной профессией и начать новую жизнь – на сей раз в прессе.

Тут же я узнал информацию, которая до сих пор обходила меня. Оказывается, мою персону взяли на ставку, которую обещали ей, Галине. И вот теперь ввиду отсутствия других вакансий ей пришлось стать учетчицей писем.

Как в каком-то среднестатистическом спектакле. Она уже – едва ли не всеобщая любимица «народа». Мой предел мечтаний – как-то сблизиться с ней. А тут – ну прямо драматург Софронов! – обнаружившийся и все осложняющий бэкграунд наших разных приходов в коллектив. И главное: я от природы отнюдь не гусар во взаимоотношениях с женщинами.

Трудно сказать, какое бы реалистически правдивое разрешение могла иметь эта коллизия. Однако жизнь имеет привычку сплошь и рядом действовать по канонам расхожих пьес.

Был канун 1959 года. В один из последних декабрьских дней в редакции организовался предновогодний междусобойчик. Убей не помню, что там было. Но кончилось так: все разошлись, кроме меня и Гали. Она сказала:

– Пора домой.

И пошла к двери.

– Еще успеешь, – я указательным пальцем зацепил ее мизинец, легко потянул ее к себе, радостно отметив, как свободно, беспрепятственно она поддается этому моему едва заметному, можно сказать, нежному усилию. Мы приблизились друг к другу до степени головокружения, и я поцеловал ее в один глаз, а потом в другой. Не знаю, что меня толкнуло именно к этому, как и к словам, которые я сказал:

– У тебя не только самые красивые глаза, но и самые вкусные.

Она впоследствии не раз вспоминала эту мою тираду, вспоминала явно с удовлетворенностью. А тогда с удивлением сверкнула своим феерическим взглядом и с коротким смешком сказала:

– Вот как легко меня остановить, одним пальчиком...

И ушла.

А я остался потрясенно-недоуменным. Потрясенным – от того, что нагромождение моих каких-то разрозненных не очень осознанных поступков, туманных помышлений, нереальных предчувствий вдруг в одно мгновение стало само собой собираться во что-то целое и крайне значимое. Недоуменным: а что это вообще было? Можно ли к этому всерьез относиться? Я не дока в образе действий женской натуры, пока что в моей жизни эти действия все время заводили меня из одного логического тупика в другой.

Я был один в редакции, не считая бабушки-старушки со своим вечным вязанием, ночной сторожихи. Идти в мое общежитие дорожных строителей не хотелось. Вообще-то в моих планах было забуриться в один из двух ближайших ресторанов (это у меня уже стало «хорошей» традицией по вечерам). Но закончить такой ошеломляющий день столь буднично... Нет, никак не годилось.

Я ходил по кабинету взад-вперед – и думал?.. Вряд ли. Просто ходил, бессмысленно.

И раздался телефонный звонок.

- Сашка?
- Да.
- Что делаешь?
- Собираюсь пойти в ресторан.
- Стыдно.

Галя замолчала, но тихо повторяла в трубку как бы про себя: «Саш-ка... Саш-ка... Саш-ка» (даже так: «Сашш-ка»). Будто привыкала к слову. Наконец, сказала, очень разговорно-буднично:

– Ты знаешь ближайший скверик по Советской? Приходи сейчас туда. В самый край, возле улицы Коммуны.

Мы встретились. Фонарей там не было. Был мороз. Мы сидели на заснеженной скамейке. Я стащил с ее руки варежку и засунул эту руку в карман моего пальто. Мы целовались.

Время от времени, и даже после четырех десятков лет совместной жизни, Галина пыталась завязать со мной разговор на такую тему.

– А ведь я тогда узнала, что ты, когда пришел в редакцию, сказал, что к тебе приедет жена...

– Так, предупреждал на всякий случай. Не приехала же.

– Представляю себе. Появилась бы такая большая северная тетёха, выросшая на шаньгах и пельменях с редькой.

В моих рассказах о маминых родителях и вообще о коренном уральском житье-бытье ее, стопроцентную хохлушку, приводила в недоумение сама идея пельменей с редькой. И она с удовольствием «кормила» свою придуманную в ревнивом воображении соперницу этим диковинным и нелепым в ее представлении продуктом.

Я отвечал жене, что вся эта материя покрылась ржавчиной по давности лет и я не хочу тратить на нее драгоценное время нашего общения... Если бы знала она, как на самом деле, можно сказать, вопреки критическим границам функционировали временные механизмы наших судеб.

В конце ноября или в начале декабря я получил на почтамте письмо от Люси, уже упоминавшейся здесь. Где она признавалась, что приняла окончательное решение – быть со мной. И теперь ждет от меня хорошо обдуманного ответа. И удивлялась, что не получила от меня письма, которого ждала – в среду или в четверг.

Это ж надо! – как было принято приговаривать лет десять назад. Не мог милый мой человек, которого мы тут называем Люсей, получить от меня ничего ни в среду, ни в четверг. Потому что, видимо, в понедельник передо мной в минутном своем явлении возникла «Галка, наша внештатница» и сбрызнула живой водой эту мою недавнюю веру: *есть и другое*. А совсем вскорости, «не обдумывая все очень хорошо», в какие-то считанные секунды я бросился в это «другое» как в иную жизнь, конечно, при этом помня и прежнюю – но в каких-то плоских черно-белых образах. К ним невозможно было возвратиться.

Когда я объяснял маме и отцу свой этот поворот судьбы, я им, оказывается, сказал как трезво и глубоко копающий индивид: «У меня хватило ума по достоинству оценить эту прекрасную женщину». Золотые мои, самые бесценные человеки, мои мама и папа, естественно развесили уши перед своим умным сыночком и хорошенько усвоили эту судьбоносную фразу. Когда через три года наконец познакомились с Галей, то, будучи покоренными ее обаянием, счастливые, они вспомнили ее. Галя просияла при этом и с должным уважением посмотрела на меня. В одном из наших последних в жизни разговоров она вспомнила этот эпизод!

Я один знал, что никакого *ума* тогда у меня не было. Одна вера. И, может быть, все те же шелопутство и дурачество, в общем-то не видные наблюдателю со стороны. Всех лучше на свете меня знала Галя, и вот она-то не раз упрекала меня, и в устной речи, и письменно, в

легкомыслии. Наверное, тут она как раз не ошибалась. Но я думаю, именно этот мой недостаток (или достоинство?) спасали нас обоих в некоторые нелегкие моменты.

А между тем, персонаж сюжета, кого я обозначил именем Люся, вновь появился в этой фабуле спустя двенадцать лет. Я мог бы проигнорировать эти страницы из записной книжки своей жизни, но нельзя. Эти страницы небыстречны, и у меня сегодня скребет на сердце, когда их вспоминаю.

Мы уже жили в Москве почти три года, когда вдруг мне пришло письмо от нее, от Люси. Оно у меня не сохранилось. Но очевидно я на него ответил не слишком деликатно.

Ну, вот, письмо как письмо. Можно отвечать, можно нет. Даже лучше не отвечать – зачем множить лишние сущности? Я привел выдержки из него, так сказать, для ввода в ситуацию.

И вот теперь я думаю. Думаю: почему я не послал ответа? Не мог найти «хоть одну фразу» матерый журналюга? Не верю. Не верю и в то, что тогда не смог понять: это письмо не должно остаться без какого-то ответа. Уже, наверно, лет пятьдесят на вопрос, какое отрицательное человеческое качество я не прощаю, отвечаю одно: вероломство. До слез жаль любого, кто был уверен в чем-то или в ком-то как в себе, но в миг, когда решил опереться на это что-то или кого-то, вдруг обнаружил пустое место и сорвался в пропасть. Молчание в ответ на это письмо – то же вероломство, даже чисто лексически, по словообразованию. Была вера – не в меня, а в какие-то светлые материи, оказавшиеся в сознании женщины связанными с восприятием моей персоны. Хотел я этого или не хотел, но в данном случае от моего поведения зависела судьба этих материй в понятии человека – конкретного, знакомого мной. И что же? Нет ответа – и «погас тот луч». Да, слом веры.

Разве я этого не понимал?

Конечно, могу сказать: у меня самого тогда был нелегкий период – по чисто внешним обстоятельствам.

...После ухода из жизни Гали, писательницы Галины Щербаковой, я естественно взял за труд подготовку к изданию того, что при жизни не обнародовала она. И был поражен удивительным по пронизательности ответом редактора издательства «Эксмо» Юлии Качалкиной на представленную очередную новую книгу: «То, как вы составили книгу, какое предпослали ей предисловие и каким снабдили послесловием, говорит о том, что вы ведете с автором непрерывный и очень вдумчивый диалог, беседу»...

На самом деле она выразила *словами* то, что я лишь чувствовал, ощущал. И этот диалог, который не кончается, начался с моей в общем-то бытовой фразы, однако же выношенной в душе: «С завтрашнего дня ты больше не идешь в свою паршивую редакцию» (слово «паршивая» – дань моде выразиться как-нибудь поэмоциональней; на самом деле «контора» была не хуже других). Приняв решение – стать Галине писателем, – мы навалили на себя многолетний груз риска. Ни у нее, ни у меня при этом не было и тени мальчишества типа: не получится – так и не очень-то хотелось. Мы не говорили об этом, но знали: цена выигрыша – судьба, проигрыша – тоже.

В те дни и пришло последнее письмо от Люси. И разве я не мог сказать: мне не до ответа на него!

Но себя-то не обманешь. Не это было причиной.

Мне было дискомфортно получать корреспонденцию втайне от Гали. И я не был уверен, что все обойдется одним, последним письмом. Казалось бы, раскрой всю «интригу» жене – и действуй вольготно. Чего бояться? Ведь за спиной у нас уже были серьезные разногласия, скажем, из-за разного нашего отношения к каким-то людям. Слава Богу, научились терпимости к этой разности – без ущерба собственным отношениям.

Но тут был иной случай, я инстинктивно опасался некоей неуправляемой рассудком реакции. Я один, наверно, знал, как ревнива Галина. Никогда ее ревность не выражалась в

попреках, укоризнах, тем более в скандалах. Застигнутое такой невзгодой, ее всегда живое, подвижное, готовое улыбнуться лицо каменно замирало – и бледнело. Эта необычайная бледность всегда смугловатой кожи каждый раз приводила меня в панику, если не сказать в жуть. Я ее боялся в тысячу раз больше, чем пресловутых женских слез.

С точки зрения любого непредвзятого человека, в той ситуации не было причины для ревности. Дела давно минувших дней, в конце концов, положение победительницы в чисто женском соперничестве (которого вообще-то для нее и не было)...

Но вы не знали мою Галю. Своевольное, я бы сказал, вольнодумное воображение сочинительницы рисовало пугающие ее картины как прошлого, так и грядущего.

К вопросу о грядущем. Еще много лет назад Галина на полном серьезе задавалась вопросом, как я буду жить, когда ее не будет. От уверений в том, что у меня есть неплохие шансы покинуть эту брентную землю пораньше, отмахивалась как от очевидной глупости и не слишком-то была убеждена в моей благопристойности без ее хозяйского глаза.

В разные годы она написала две прозаические вариации на тему прирожденной мужской ветрености, проявляющейся в драматических обстоятельствах. Вот зачины этих рассказов.

«Жена умерла так неожиданно и сразу, что ни осознать, ни почувствовать горе Николай Крутиков не успел. В понедельник утром перед работой она замочила в тазике его майки, днем на службе у нее случилось «это», во вторник была беготня со всеми похоронно-бюрократическими процедурами, в среду жену похоронили, а вечером он обнаружил в тазике замоченные майки» («Сентиментальный потоп»).

«Владимир Иванович сделал все как надо. И поминки в приличном кафе, и хороший черный камень на могилу, и портрет.

...Портрет на черном камне был тот, где Лиза улыбалась так, как умела только она, радостно и доверчиво, при жизни он это называл – «от дури». («Перезагруз»).

У двух разных вдовцов были свои разнообразные обстоятельства, но... так или иначе и тот, и другой довольно скоро в «кассе вокзала» попросили билет, как сказано в общеизвестной песне, до «города, в котором тепло». Там у каждого из них, кроме оставленного навсегда детства, еще был объект юношеской любви, окончившейся, увы, ничем. И вот, спустя многие годы, мужики, оставшиеся в собственной памяти мальчишками, делают еще одну попытку все же осуществить молодые, когда-то обманувшие мечтания.

«...Но Тоня, Тоня, Тоня...

Это ж вам не какая-нибудь украинка, которой нужна прописка. Это почти свой человек. Это, можно сказать, любовь, положенная в морозильник. Теперь ее надо оттуда вынуть, чтоб оттаяла». («Сентиментальный потоп»).

«...Он заберет ее в Москву, у него двухкомнатная квартира, а дочь уже живет отдельно. Он скажет, что это их шанс начать сначала, подумаешь – полтинник лет. Они будут жить чисто..., а ночью горячо, до крика. ...Он шел и мысленно обнимал ее, маленькую, пухленькую, мягонькую, от нее пахло козьим молоком и духами «Кармен». Она их обожала». («Перезагруз»).

И, между прочим, Николай Крутиков забрал эту Тоню, «почти своего человека». И началось...

«-...Неудобная у тебя кровать. Я совсем не сплю.

- А у меня изжога от твоих голубцов.

- Не мои – магазинные.

- Магазинные? Ну, ты даешь! Чего ж это мы едим магазинные? Капусты, что ли, нет?

Или там – начинки?

- Три дня нигде нет капусты.

- Странно...

- Не веришь, что ли?..

Тошно им было обоим. От неумения сблизиться, понять друг друга. И пришла мысль, что совершили они оба ошибку». («Сентиментальный потоп»).

И только уже в момент состоявшегося разрыва неожиданно случившийся потоп, жесткая коммуналная стихия совершила коммуникативное чудо.

«Было так страшно, что они в отчаянии сели рядом на стоящую в воде кровать, потому что ноги их не держали. Было ободрано и – тихо, тихо... И в этой тишине они вдруг услышали друг друга, потому что оба были славные, хорошие, оглохшие в шуме люди.

– А я все равно хотел обои менять, – сказал Николай. – Ты какие хочешь?

– Мне все равно, – сказала Тоня. – Я только не люблю, когда салатовые.

– Я тоже, – сказал он. – Салат, он зеленый, холодный. Не для семьи. И надо поискать дверные ручки, шпингалеты. Этим столько лет...

– Я поищу, – сказала она. – Поезжу.

И тогда он ее обнял.

Она прижалась к нему и заплакала».

Ну, а вот у Владимира Ивановича случился полный облом.

«В дверях стояла широкая баба в перекошенной юбке и спортивной адидасовской куртке со следами выдранной с мясом молнии. У нее были набрякшие глаза («Базедова болезнь», – подумал Владимир Иванович) и сильно обвисший подбородок.

– Извините, – сказал он. – Ольга Михайловна дома? – Как легко вспомнилось отчество, на раз.

– Ну, – ответила баба.

– Я тут проездом. Я ее одноклассник. Хотел встретиться. Когда она будет?

– Кто? – спросила тетка, и в голосе ее был какой-то странный ядовитый смешок.

– Ольга Михайловна. Оля...

– Заходи, – сказала баба. Она повернулась спиной, и он увидел, что юбку ее крепко защемили ягодицы, и было в этом заде даже что-то величественное в его полном равнодушии к миру смотрящему.

И он покорно шел за этим телосложением, испытывая перед ним даже некую робостью.

– Ты как был дурак, Вовка, так им и остался, – говорила идущая впереди него природа...»

Надо ли объяснять, что опустившаяся, глушащая стаканом водку баба и была той Олей.

«...Все-таки он поднял на нее глаза. Она стояла к нему боком, смотрела в окно, и ягодицы по-прежнему крепко держали ее юбку. Он резко отвернулся от этой картины, но заметил, как разлапистая ладонь незаметно смахнула с лица слезинку. Ему тоже захотелось плакать».

Что, страшно?! Еще как. А писатель Галина Николаевна честно сказала:

– Это я про тебя написала.

Без тени юмора. Она написала не про меня, а для меня. Как бы глядя в мой безрадостный завтрашний день. Я злился на нее. Но больше – боялся. Боялся закаменевшего бледного лица.

Кажется, объяснил сам себе историю с неотвеченным письмом? Но... опять вспоминаю: «я потеряю опору, я окажусь в пустоте и мне будет совсем худо...»

А сейчас и мне от этого худо. И ничего не вернуть.

Почему-то на память приходит школьное. «Я оглянулся окрест меня – душа моя страданиями человечества уязвлена стала». Пусть простит меня Александр Николаевич Радищев, великой души человек, за использование найденной им потрясающей словесной формулы. Так вот, окрест меня очень многие люди живут по жребью, доставшемуся им, так сказать, при типовой раздаче: есть человек – получи свою нормальную, справедливую среднечеловеческую долю. И есть люди с судьбой – индивидуальной, заготовленной провидением именно для них. Но, в отличие от получающих свой удел «в общем порядке», прет-а-порте, им приходится, такое уж правило, эту свою модельную судьбу еще выискать в мировой кутерьме. И не факт,

что, разысканная, она гарантирует тебе нечто славное, счастливое, безбедное. Нет, только твердое конечное чувство, что ты прожил именно *свою* жизнь. Но это – не мало.

И потому так много ищущих. А поиск – это слишком часто путь проб и ошибок. Оглянувшись окрест, я увидел, что *нашедших* обычно окружает немалое число потерпевших от их поисков.

Это меня озадачивает. Мне не ясно, как к этому относиться. Но честно: я благодарен providению за подаренную *судьбу*. В комедии Островского про женитьбу Бальзамина купчиха Клеопатра Ивановна мудро говорит: «Разве можно знать божью планиду! У всякого человека есть своя планида...» А мне было дано понимание: вот она, в моих руках, нить моей божьей планиды.

II

Собирались наскоро.
Обнимались ласково.
Пели, балагурили. Пили, да курили.
День прошел, как не было, не поговорили.

Виделись, не виделись.
Ни за что обиделись.
Помирились, встретились, шуму натворили.
Год прошел, как не было, не поговорили.

Так и жили наскоро.
И дружили наскоро.
Не жалея, тратили. Не скупясь, дарили.
Жизнь прошла, как не было, не поговорили.

Так бесхитростно обрисовал наше бытие один из самых моих любимых поэтов Юрий Левитанский.

Повторяя мысль какого-то приметливого англичанина – жизнь человека состоит из потерь (*human life is made up of losses*), я ныне полагаю, что главная потеря как раз и заключается в том, что «не поговорили», не договорили – ни в дне, ни в году, ни в жизни. Просек я эту истину, когда ушла из жизни моя жена Галя. Но я знаю, что эта мудрость никому никогда не поможет. Ибо в *каждом* дне всегда есть что-то под номером один – обниматься, петь, балагурить, обижаться, мириться, тратить, дарить... Все прочее, «надстроечное» – это потом, потом...

Когда?

Мне повезло главным человеком своей жизни избрать сочинительницу, рассказчицу, которая оставила в виде букв на белых бумажных листах большую, большую часть своей души, своих сомнений, страхов, надежд... И получилось – можно говорить, можно вести диалог, беседу.

Вообще-то отчасти мы и при ее жизни все-таки *поговорили*. Был у нас такой небольшой предзакатный безветренный, тихий период. Казалось: все неотложное, наконец, в прошлом, все плохое уже произошло, бояться неизбежного глупо. «Главное – дойти до края своими ногами», – говорила Галя. Но это уж – не наша воля и забота. Мы, радуясь своим неожиданно счастливым дням и не стыдясь их, говорили вслух: «Подольше бы так, подольше...» То был единичный, несравненный промежуток... душевного покоя, которое мы подманиваем каждое утро своего разумного существования, обычно безуспешно.

Его конец пришел, как возмездие, 7 июля 2009 года. В виде моего инсульта. Правда, было еще его малое продолжение перед уходом Гали в марте 2010-го. Об этом, может быть, – чуть позже.

Вот тогда мы «чуток» (расхожее бытовое слово Галины) и *поговорили*.

Что запомнилось (не по степени важности).

В 1975 году я возвратился из командировки в США. Привез, конечно, кучу грошовых сувениров и один дорогой для меня подарок от любезных американцев, узнавших, что я люблю джаз, – двойной виниловый альбом Луи Армстронга. Какое же было для меня расстройство,

когда я узнал: Галя в числе всяких презентуемых родственникам и друзьям бессмысленных заокеанских диковинок отдала и эти пластинки. Конечно, я наорал на нее, раскрыл ей глаза на ее дремучесть в области свинга (что было святой правдой), но что сделано, то сделано, как одно время говорили молодые, «поздняк метаться». И вот через десятки лет, уже в зрелые годы не брежневского, а путинского застоя, я вернулся к этому «делу» и выразил, наконец, глубину постигнувшей меня тогда обиды.

Стало легче.

Не помню, как мы вышли на тему начала нашей ростовской поры.

То время стало естественным продолжением моего «челябинского периода», когда я пребывал в состоянии влюбленности – причем, неистовой (что вообще-то, по моему собственному пониманию, противоречит моей натуре). Галина значилась как замужняя женщина, алгоритм ее жизни не мог зависеть от моих обстоятельств, ее же планида предписывала однозначный путь – в Ростов-на-Дону. Значит, и у меня иного выбора не было...

Город этот оказался счастливым для нас. «Урожайным» на друзей. Удачной площадкой для прыжка в высоту в профессии. А главное – там мы связали свои судьбы желанными оковами брака. Там появилась на свет наша долгожданная дочь (долгожданная – потому что Галине пришлось для этого пройти немаленький курс лечения; помню, руководила главными медицинскими моментами в рождении дитяти родная сестра самого популярного ростовчанина, великого футболиста Виктора Понедельника, а сама она была авторитетнейшей величиной по части акушерства).

Однако не об этом речь. В одном из наших неспешных «осенних» разговоров вдруг выяснилось, что мы не очень четко представляем добрачные обстоятельства жизни друг друга. И то сказать. Припомните, из чего состоят разговоры влюбленных на свиданиях в театральные драмы (и комедиях)? Из чего угодно – только не из транслирования житейской информации. Так же – и в действительности. Зато уже в семейной жизни текущее обывание заполняет почти все ее пространство, да так, что даже на какое-нибудь воспоминание о нашем существовании *до того*, не остается и минуты.

И вот у нас уже в 2010 году случился вечер воспоминаний. Не уверен, на самом деле Галина не знала обстоятельств моего пришествия в Ростов или их погребли в памяти напластования десятков лет? Удивительным блеском неподдельного интереса светился ее взгляд, когда я рассказывал о нем. О том, как в поисках работы обходил редакции газет, потом стал вкалывать учеником токаря на заводе «Ростсельмаш» и одновременно писал материалы для газеты «Комсомолец». А она там уже работала; тем удивительнее показалась просьба рассказать, о чем они были! Воистину, «так и жили наскоро». На «подробности мелких чувств» (так спустя много-много лет она назовет одну из своих книг) просто не хватало – нет, не времени, а самой жизни. Я верил и знал, что она хочет как можно скорей соединиться со мной; ей же надо было только полагаться на то, что я со своей стороны для этого делаю все необходимое. Вдавайся она тогда (в дополнение к своим заморочкам) в детали – где я жил, на какие шиши, что конкретно собираюсь предпринять и т. д., – она бы, не исключено, тронулась умом.

Ростов – интересный город. Если Москва слезам не верит, то уж он тем более. С «чисто московскими» (а потом и всероссийскими) нравами там можно было столкнуться еще в 1960 году. Приходишь в редакцию, точно зная, что в штате есть незанятые места, просишься на работу. Отвечают: «Придите завтра». На другой день: «Знаете, вы нам ужасно подходите, но, к сожалению, нет вакансий». И так везде. За этим не было какой-то особой зловредности. Просто чувство: а с какой стати брать человека с улицы, за которым – никого и ничего?

Но Ростов к тому же непредубежденный город. Три (только три!) заметные газетные публикации – и вот ты сотрудник областного радио и телевидения. Конечно, тут и время было интересное, «способствующее»: хрущевская оттепель («форточка»), страна, можно сказать, впервые, пусть и осторожно, вдохнула воздух свободы.

В конце ноября 1960 года, в проливной вечерний, а можно сказать ночной, дождь я приехал в этот город. В апреле 1962-го женился на любимой женщине. Летом того же года стал ответственным секретарем областной газеты, в которой моя только что обретенная жена «доросла» до завотделом. Обаятельный Ростов сквозь пальцы глядел на возможную опасность семейственности. А в первые же дни следующего года наша новенькая «ячейка общества» обрела свое первое жилье (это была и первая квартира, которую за всю свою историю получила редакция донской молодежной газеты). Тогда в нашей журналистской компании была заложена традиция «полового новоселья»: ввиду отсутствия у новоселов какой-либо мебели, пир устраивался на полу, на расстеленных газетах свежего номера, принесенных из типографии.

Конечно, уж такие-то достопримечательные детали мы могли в подробностях воспроизвести друг другу и через многие десятки лет. Однако Галя вспомнила любопытное обстоятельство другого свойства, относившееся к нашему великому переселению с Уральских гор на просторы Тихого Дона. Оказывается, когда она только появилась в городе, бдительный редактор ростовского «Комсомольца» Владимир Дмитриевич позвонил в редакцию челябинской молодежи: просто так, в порядке любознательности. И тамошний редактор Иван Сергеевич сказал ему: ни в коем случае не брать на работу Галину, она бузотерка, неблагонадежная, от нее смута в коллективе. А еще Иван Сергеевич сказал то, о чем его никто не спрашивал: в Ростове может появиться некто Щербаков, его брать тоже не надо, и, кстати, у него с Галиной – предосудительные отношения.

Должен сказать: Иван Сергеевич – хороший человек, царство ему небесное. И Галю правильно охарактеризовал – но... при взгляде с *другой* стороны. Бузотерка: вечно заступает за какую-то справедливость; неблагонадежная: чуть что – «мы за все в ответе»... И насчет предосудительных отношений – святая правда. Разбивать семью – действительно грех.

Считаю образ действий Ивана Сергеевича абсолютно адекватным моему вероломству, с которым я написал заявление об уходе. Мне было сказано: относительно меня у редактора особые планы. И я внутри себя плакал, когда писал свое заявление. Не от потери неких туманных перспектив, мне и так в редакции было хорошо, а потому что жалко было разрушать какую-то надежду славного и расположенного ко мне человека.

Но у меня не было иного выхода!

Иван Сергеевич маленько просчитался в одном: он наверняка был уверен, что разговор тет-а-тет двух редакторов останется между ними и не будет известен ни Гале, ни мне. Но Ростов отнюдь не то место, где обретаются «суровые челябинские мужики», и любопытная информация об эффектной женщине, вдруг нарисовавшейся в ораве молодой пишущей братии, быстро распространилась не только по «Комсомольцу», но и по редакциям других городских и областных газет. Трудно сказать, помешала она или, наоборот, помогла нашему укоренению на казачьей земле, питавшей Михаила Шолохова, Виктора Мережко, других известных знатоков женской натуры и любовного морока. Но настроение Галине тогда, по ее словам, испортила изрядно.

На этот раз, в истории с телефонным звонком, уже Галя поражалась тому, что я вроде как и не ведал о ней. «Я же тебе писала, – говорила она. – И даже рассказывала, помнишь, в Свердловске?..» Тут-то я и понял причину этой забастовки моей памяти.

До поры до времени меня не очень волновало, что мои учебные дела потихоньку отставали от академических показателей моих однокашников: как-нибудь там догоню. И в июле 60-го мой курс выпустился без меня. Ну, и ладно. Но в конце лета дама моего сердца сказала:

– Не валяй дурака. Оканчивай университет. Недоучка мне не нужен.

Возможно, это было сказано полушутя. Как в известной советской песне военной поры: «Когда вернешься с орденом, тогда поговорим». Однако это был как раз тот момент, когда решилось, что Галина уезжает в Ростов-на-Дону. Тем самым предопределялось дальнейшее течение и моей жизни. И я не знал, суждено ли мне еще будет увидеться с любимым Уралом, и

тем более – с любимым УрГУ. Получалось так: канитель с образованием завершать немедленно – или, может, никогда.

Действительность предоставляла очень жесткие рамки. Редакция могла дать отпуск с середины сентября, а в октябре кончался последний срок выдачи дипломов в 1960 году. Только под гипнозом любви можно было броситься в эту авантюру. Несколько экзаменов и зачетов, два спецсеминара, курсовая работа за пятый курс, теоретическая часть к практической дипломной работе «Фельетон», два госэкзамена.

Но... представьте себе, 1 ноября в кабинете ректора мне в числе десятка таких же «хвостистов» выдали новенький диплом и университетский знак. Конечно, этого бы не получилось, если бы на нашем факультете не были участливые преподаватели, многие сами журналисты, которых можно было упрямить поработать вне расписания и даже вне вузовских стен.

Должен сказать, что из этих критических октябрьских суток надо было еще вычестить 12 часов, которые были посвящены... Гале. Она для завершения каких-то своих отъездных хлопот приехала на три дня в Челябинск, а в один из них мотнулась в Свердловск, и мы провели его вместе. Вот тогда-то она мне, видимо, и рассказывала про звонок из Ростова в Челябинск.

Но разве мне в тот день было до таких деталек?..

... Гораздо более меня впечатлила беседа с Галиной на совсем иную тему. Этот разговор случился в конце января 2010 года. Издательство «Эксмо» предложило тогда Гале выпустить большой, на 600 страниц, том рассказов. От автора требовалось сочинить лишь маленькое предисловие. И мы вдвоем вместе однажды за утренним чаем придумали и, можно сказать, проговорили его. Как в таких случаях выражаются, осталось только сесть и написать. Но у автора что-то засбоило. День шел за днем, а он все не брался за свою шариковую ручку. На мои напоминания Галя отмахивалась:

– Ой, да напишу я, напишу. О чем говорить, какие-то две странички.

Однако ее литагент Володя Секачев уже дважды звонил, спрашивал: ну, когда же, когда...

И в тот раз я как-то вскользь подумал вот о чем. В течение многих лет ее литературные успехи всегда вызывали у меня самые живые чувства, они как огоньки освещали дальнейший путь жизни. Мне казалось это естественным. Но вот что странно: у самой писательницы при профессиональных удачах градус радости был намного ниже моего, а то и вообще переваливал за минусовую черту.

– Никому, Санечка, это не нужно. Кто все это будет читать?

– Да ведь все твои книги расходятся.

– А вот это никто не проверял. Может, их куда-то увозят на макулатуру.

– Что, по-твоему, в издательствах дураки сидят?

– Нет, просто очень добрые люди, они боятся меня огорчить.

И такая чистосердечная грусть, ну просто мультяшный ослик Иа.

Десятки подобных диалогов случились у нас за долгие годы. Сейчас, когда мне больше не с кем спорить на эти темы, я вспоминаю их с улыбкой. А тогда нередко злился и... обижался.

Подобная реакция произошла у меня и в ответ на историю с предисловием к рассказам. И я тогда, помимо чего-то прочего, сказал писательнице то, что давно жило внутри меня, но никогда не оформлялось словами и даже мыслью. Тебе Бог дал сочинительский дар, говорил я, от которого ты получаешь и счастье, и страдание. А чтобы этот дар явился вовне, Бог в какой-то мере, пусть небольшой, применяет в качестве инструмента меня.

И чтобы уж совсем стало ясно, я добавил фразу, которая, скорее, была просто грубостью:

– Писатель Галина Щербакова – это в какой-то мере и мой проект.

Она посмотрела на меня. Это был взгляд из какой-то такой глубины, какую я не видел никогда.

– Санечка, разве я этого не знаю?

... То, что вы только что прочитали, я написал 15 августа 2012 года. А на следующий день получил на почте два больших пакета из Израиля, от Людмилы и Бориса Коварских. Людмила – это Люка, младшая сестра Гали. В пакетах были 14 писем, которые Галина отправила своим родственникам, когда те уехали из России на ПМЖ в 1994 году и которые Коварские сберегли во всех разнообразных обстоятельствах жизни на новой для них земле.

И у меня вдруг случилось четырнадцать неожиданных свиданий с ней за один день. И каких! В большинстве случаев на каждом из них узнавал что-то... новое о человеке, о котором, думал я, знал все.

Вот, к примеру, написал о том, как наблюдал много раз случаи, можно сказать, патологической неспособности автора радоваться собственным достижениям. А прочитал эти письма – и развел руками...

«Ваш отъезд, – писала она сестре, – встряска, которую я, конечно, еще не пережила и переживу ли... Хожу и разговариваю с тобой, ищу тебя, в общем тоскую. ... На меня возник клёв в журналах и издательствах, который я рассматриваю как моральную компенсацию за ваш отъезд. Как говорится, нет худа без добра. Повестушку про тетю Таню – помните? – взял «Новый мир». А некое изд-во, обожравшись Стаутом и Чейзом, взяло у меня все, что было, что есть и что будет. Это ничего не значит. Журнал может полюбить другого, а изд-во может лопнуть, но в момент, когда я, Люка, ищу тебя по квартире, такой интерес мой организм поддержал. Хотя я и так бабахнулась в криз, а, не будь ласки по авторскому подлежащему, могла бы бабахнуться глыбже».

«... я веду сейчас абсолютно ненормальную для возраста и необычайно сладкую для души жизнь: графоманничаю с утра до вечера. Мне – как бы ни было тяжело, а у меня просто болит рука рабочая – это состояние нравится, я впадаю в абсолютно радостное одиночество и не тягочусь им. Началось все с того, что в литературе оказалась нужна – тьфу! тьфу! тьфу! – а главное, начиная с повести о тете Тане, я как-то легко перешла в какое-то другое состояние – я знаю, я умею, я не боюсь.

Надо сказать, что подвигу (в смысле продвижению) я обязана и собственным детям. Я, Люка, сделала печальное, но и радостное открытие сразу. Радостное потому, что лучше знать, чем не знать. Мама моим детям нужна победительная, чтоб можно было стоять на крыльце Дома кино и гордо кричать: «Моя мама сценарист».

Я писала Сашке своему всякие письма, длинные, короткие, истерические, жалобные и очень его раздражала (так мне кажется). Потом стала писать коротенькие писульки и обидела мальчика. Когда же я написала, что у меня все хорошо, что я на плаву, что у меня болит пальчик, но это не считово, выяснилось: это самое то! Мама – молодец. Вот так все и сошлось одно к одному: состояние души, маленькая пруха и желание детей видеть маму, у которой все о кей. Нате вам, паразиты, сказала я. Такая и буду.

... На дачу в этом году не еду – буду работать. Только бы не подвела физика и химия организма. Так как писать мне надлежит про любовь, я сочиню такую, что всем и не снилось. Я теперь знаю, как...».

Оказывается, и такой была моя Галя! Но раскрывалась такой она не мне, а родной крови – сестре.

Бог ты мой! Как я мог забыть, что одним из самых первых вожелений юной Галины Руденко было желание стать артисткой! Она признавалась, что ей нравилось быть учительницей, потому что школьный класс ей казался подобием театрального зала, перед которым она являла... школьные литературные образы. Да и в обычной жизни она всегда преображалась, рассказывая – изображая! – какие-нибудь даже самые заурядные случаи повседневности. Короче, как нам разъясняли похожую ситуацию братья Меладзе в популярной песне, «она была актрисой, и даже за кулисами играла роль, а зрителем был я». Играла роль человека, привычно и спокойно воспринимающего свои столь естественные (!) успехи.

И чему удивляться? Разве я сам перед нею в каких-то случаях не изображал «крутого мэна»? И разве мне это не помогало выходить с меньшими потерями в иных трудных ситуациях? Другое дело – во мне нет ни капли артистических данных, и Галя в моих стараниях в чем-то превзойти самого себя наверняка видела мою бесталанную игру. Но никогда, никогда это не показала. Настоящая женщина.

Ну, а я? всю жизнь помня, что живу со стихийной актрисой, и питая расположение к этому ее свойству, именно вот в этом пунктике жизни – моей причастности к ее писательскому существованию – позабыл о столь явной ее черте. И теперь знаю, почему. Этот пунктик был для меня слишком жгучим в жизни. На нем испарялось мое чувство юмора.

Да, вот оно, еще одно подтверждение старинной акиомы: мы знаем только то, что ничего не знаем. И не о чем-то там хитромудром, а о людях, с которыми живем. Именно об этом и писала сестре Галина еще в одном своем донесении о нашем московском житье-бытье. Ее простодушному признанию придает ценность то, что оно принадлежит уже признанному мастеру своего дела, пользуясь выражением Юрия Олеши, «инженеру человеческих душ».

Тут нужно пояснить. В Москве жили близкие родственники Галины, тетя, сестра ее мамы, с мужем. Ируся и дядя Коля, крупный стройбанковский финансист (начальник Управления финансирования строительства предприятий химической, нефтяной, газовой промышленности) и ответственный прокурорский чин. Но главное было в другом. Ируся и дядя Коля были страстными поборниками коммунистической идеи, а мы приехали в столицу уже внутренне завзятыми антисоветчиками. А тут еще август 68-го... У всех нас хватило ума соблюдать внешнюю родственную благопристойность. Но... Наши «старшие» девять лет, пока Галина безуспешно осаждала редакции издательств и журналов своими повестями и романами, совершенно искренне считали ее тунеядкой. «Кто тебе сказал, что ты писатель? – терпеливо поучала племянницу Ируся. – Ты сначала заработай хорошую пенсию, а тогда уж и пиши что твоей душе угодно».

Однако все наши идейные, да и вообще любые противоречия смехотворны перед лицом времени. Пришла пора ухода старших. У Ируси она была тяжелой, с переломом шейки бедра. Дядя Коля прожил без нее два года. Мы, понятно, их обихаживали, как могли, и проводили с миром и... любовью. Спросите: откуда она взялась? От знания. Вернее: от познания. От познания определенного, единичного человека. Смею предположить (и тут, думаю, многие со мной не согласятся, но это так), таким *познанием* даже близких людей мы, как правило, не обладаем.

Вот оно, письмо Галины.

«Последнее время стал сдавать дядя Коля. И то, что он позволяет приносить себе молоко, хлеб, доказательство тому. Ему помощь извне дается необычайно трудно. Я же ловлю себя на странных чувствах – посещения его даются мне легче, чем покойного Ф. Он контактен, чистоплотен, абсолютно в здравом уме, много читает из моих рук, а главное, политически не агрессивен. То есть просто старый старик, которому помогать не противно, а даже приятно. Господи! Каким же персонифицированным злом он был для меня когда-то. Я же помню это очень хорошо. А вот сейчас, Люка, ни одна струна не вздрагивает во мне старым гневом. Я его просто жалею. А вот Ф. раздражал невероятно своей злобой, ненавистью.

Мы не знаем ни себя, ни других. Я в этом убедилась еще на одном трагическом примере. Помнишь такого, Л.Б.? Две недели тому назад он повесился в своей лондонской квартире. Абсолютно благополучный, удивительно уравновешенный, имеющий с моей точки зрения все, он, оказывается, был глубоко несчастен. А уезжая, звонил, беспокоился о Щербакове, который искал тогда работу, а надо было – как я теперь понимаю – говорить о нем самом. Вспоминая этот звонок, а он звонил и Катке (наша дочь. – А.Щ.), задним числом соображаю: он прощался.

Ну и что такое это наше знание о людях? Да ничего! Понять бы себя, но и тут сплошная топь...

Будете смеяться, но я тут, по случаю, стала читать «Коран». И он мне понравился! Никакой агрессии, никакой ненависти, мягкая такая мудрость. Никаких призывов к газавату.

Да! Еще одна подробность к тезису о непознаваемости человека. Наш любимый Рязанов, не сносив башмаков, стал вводить в свет новую будущую жену. Да я разве против? Конечно, надо жениться, ведь не старик еще, мужик! Но неужели, неужели нельзя было удержаться от гласности? Даже не от совместного проживания, черт с вами, а от введения в круг новой партнерши, не дождавшись даже полугода? Пожилые дамы в шоке, а я все о том же – ничего не знаем, не дано знать о другом.

А я о себе еще добавлю: я к этому незнанию всегда еще прибавляю собственную фантазию о человеке, а потом разбиваюсь мордой об то, что было под моей фантазией.

Ну, ничего, дорогие, ничего! Главное же процесс... Процесс постижения собственной души и исторжения ее».

Ну, да. Вот только знать бы, что есть дурь, а что не дурь. Наша привязчивая, возможно, врожденная суеверность («в литературе оказалась нужна – тьфу! тьфу! тьфу!») – уж точно не разумность. Ну, а вот исходящая от пишущего субъекта вечная тревожность, смутность, неуверенность ни в чем («Это ничего не значит. Журнал может полюбить другого, а изд-во может лопнуть», «А вот это никто не проверял. Может, их куда-то увозят на макулатуру»), в которых мы существовали со дня ухода Галины с государственной службы? Избавление от этой круглогодичной нервической дрожи пришло лишь на тот малый описанный мной промежуток предзакатного душевного покоя, который воспринимался как нечто райское. А теперь я думаю, да нет, скорее уверен в этом, то наше умиротворение было знаком завершения: исполнено предназначение, судьба Галины состоялась. И она была угадана – в том числе мною – верно, в соответствии с провидением, со знаками высшей силы, расставленными на нашем скоротечном пути.

Но если такое завершение равно покою, то что тогда это – вечно мучившие нас тревоги и смятения, казавшиеся помехами жизни и капризами несовершенных божьих тварей? Не есть ли они порождение тех же импульсов, которые называются творческими, то есть единственными, способными *создавать*? И тогда – те тревоги и смятения не напрасны?..

III

Итак... Мы целовались. Мы были счастливы.

Вы нас поймете, если мысленно, в воображении, перенесетесь на полвека назад. Тогда было не только популярно, но и вполне жизненно изречение: « Умри, но не давай поцелуя без любви!» Многие нерадивые в учении девушки почему-то считали, что оно принадлежит Зое Космодемьянской, но более прилежные правильно знали его источник – роман Николая Чернышевского «Что делать?». А кто еще его и прочитал, с удивлением обнаруживал, что Николай Гаврилович вложил эту фразу в уста проститутки Жюли.

Сегодня, с недоумением размышляя над этим пламенным призывом из сборника афоризмов, молодые люди на интернетовском сайте выражаются кратко и определенно:

–посмеялась;

–так смешон этот пафос... типа больше умереть не за что;

–суть верная, но не жизненная;

–люди тогда васче целоваться разучатся... если уж и секс сейчас не по любви, то о каких поцелуях речь;

–это никогда не было жизненно.

Мне всегда приятней соглашаться с молодыми, чем спорить. Но вот последнее утверждение в вышеприведенном списке мнений абсолютно ошибочно. В 1958 году котировка тогдашних поцелуев была в сотни раз (а может, и в тысячи) выше нынешних, они если и не приравнивались к любви, то были ее сертификатами – и это было «жизненно». Короче, «поцелуй – это печать любви» (Ганс Лобергер, австрияк).

Согласно условиям служебного романа, у нас не было проблемы, как бы увидеться друг с другом. Но, конечно, нам этого было мало, и мы регулярно смывались с работы, находили тихие городские уголки, целовались и рассказывали о себе. Галя была замужем, более того, у нее был почти двухгодовалый сын. Я отдавал себе отчет, что эти подробности биографии моей избранницы, конечно, как-то осложнят дальнейший мой путь, но чувство ликования от самой счастливой жизненной находки вкупе с уже отмечавшимся здесь благодатным легкомыслием автора окрашивало мое челябинское существование в радужные цвета. У Галины было более трезвое отношение к ситуации, но мне удавалось пропускать ее мудрые сентенции и предостережения мимо ушей. Так же, как пропускал и ее горестные сетования из-за того, что мы «не совпали по времени».

Между прочим, вот к этому, последнему ее, скажем так, пунктику надо было сразу отнестись посерьезней. Он оказался навязчивой идеей, которая изводила меня всю жизнь. Галина была на шесть лет старше. Я не буду описывать разнообразные бедствия, могущие произойти из этого драматического обстоятельства, которые она предвидела и рисовала мне. Если из-за чего и мог произойти распад нашего союза, то в первую очередь из-за этого ее бзика. Потому что корректной реакцией на него были две возможности: наплевать и забыть – или разойтись как в море корабли. Мы ухитрились пройти свою стезю по какому-то третьему, видимо, неправильному пути. «Ну, это, видимо, любо-овь», – не раз недоуменно пожимала плечами наша дочь, наблюдая, как мы терпим, по ее понятиям, нетерпимые наши деяния или реакции.

По большей части она имела ввиду мои деяния и реакции. А, соответственно, «любовь» – относилась к Гале, понятно, подразумевалась самоотверженная, декабристская любовь. Так что пиши этот мемуар Галина, и я наверняка узнал бы про себя много интересного.

К моей горькой печали, писать его выпало мне.

Так что терпите мою неколебимую субъективность.

Впрочем, по данному пункту – разница в возрасте – все знавшие нас могут подтвердить мою правоту (и фотодокументы свидетельствуют это): во все времена мы были... абсолютно одинаково молоды, а потом абсолютно одинаково немолоды, абсолютно одинаково стары.

А тогда, на заре нашего счастливого романа, я элементарно балдел от нее – от ее (скажу по-украински) очей, от славно сотворенной малороссийской природой фигуры, прельстительно-манящей (никогда не забуду, как она переживала, услышав на улице относящуюся к ней реплику: «Глянь, вон какая украиночка идет!»), от ее отмеченного девчоночьей живостью лица. Но она никогда, даже подростком, не была такой, которую тянуло бы назвать «девчушкой». У этой девушки всегда было «содержательное» лицо. (Я воспользовался выражением Галины, она нередко так говорила о симпатичном ей человеке).

Что касается возраста... Я вспоминаю историю, рассказанную мне бывшими ученицами Галины Николаевны. Они были в выпускном классе, когда на школьный вечер пришли мальчишки, окончившие десятилетку два года назад. И Вадим Бершадский, один из влюбленных в свою бывшую учительницу парней, спросил ее:

– Ну, теперь-то нам уже можно называть вас просто по имени?

Резко отрицающий жест был смикширован забавным словом:

– Не можно!

Вадим был моим ровесником. Мне несказанно повезло: я не был ее учеником...

...Но был ее учителем!

Помимо любви, у нас была работа. Мы к ней относились так же серьезно. Что бы там ни говорили, а самый лучший наставник в чем угодно не лицензированный профессор и даже не мастер своего дела, а тот, кто сам только-только уразумел, как это дело делается. А я отчасти и был таким в газете.

Помню, она внимательно слушала, как я глубокомысленно вещал:

– Ты можешь рассматривать своего героя со стороны и потом все объективно, детально описывать. А можешь постараться посмотреть на все с его точки зрения, его глазами. И у тебя получатся два разных материала при одних и тех же фактах.

Это было не из лекций по теории и практике партийно-советской печати, а из маленького, но своего опыта. Мы, естественно, не знали про методы западного, нарочито объективированного, по глаза засыпанного информационным сырьем стиля, но стремились нащупать свой почерк, отличающийся от кондовой манеры партийного идеологического пошиба.

В то время в журналистике было интересно. Помню, к нам на факультет приходил Песков, рассказывал о том, как главный редактор «Комсомолки» Алексей Аджубей, увидев снимки Василя, провинциального фотографа, велел, чтобы с завтрашнего дня этот парень работал в его редакции. После встречи с Песковым у меня сама собой образовалась зарубка в сознании, впрочем, тогда еще едва заметная: «Комсомолка» – это то, что мне годится.

Тогда же у меня открылся мой личный счет великих отечественных редакторов моего времени. Их не так много: Аджубей, Егор Яковлев, Сырокомский, Коротич, Владимир Яковлев.

Вскоре Аджубея, зятя Хрущева, перебросили в «Известия», и с них в СССР началась некая иная журналистика, какой мы еще не видели, с ее отнюдь не стопроцентной, но все равно шокирующей народ мерой правды. Вдруг появилась «Неделя», приложение к «Известиям», совершенно новый для страны Советов тип газеты – «для чтения». А еще еженедельный дайджест (впрочем, такого слова в русском языке тогда не было) «За рубежом». Плюс «Иностранная литература», «Юность», и вообще смена стилистики в периодике, большая часть которой, к удивлению читателей, на какое-то время заговорила на вполне человеческом языке. Откуда-то враз появилось много талантливых перьев. Это был тектонический сдвиг в прессе СССР.

Все это было нашей школой. Мы с Галей проходили ее совместно. Собственно, только поэтому я и допустил маленькое отступление от рассказа о нашей личной жизни. Например, мы оба были в восхищении от писаний Леонида Лиходеева, фельетониста «Литературной газеты», с нетерпением ждали дня выхода этой газеты с его сочинением, точнее, следующего дня, поскольку к нам она приходила с суточным запозданием. Мы были неоригинальны в своем пристрастии. Читающая и мыслящая часть народа «шла» в «Литатурку» на Лиходеева, как в Ленинградский театр миниатюры – на Райкина. Счастливое совпадение: всплеск блестящего остроумия в творчестве уже набравшего силу, но еще достаточно молодого талантливого литератора – и распахнувшаяся хрущевская «форточка».

Отчасти, наверное, и под влиянием Лиходеева я начал писать фельетоны, и даже темой дипломной работы выбрал «Фельетон». Ясно, мои опусы не могли сравниться с лиходеевскими ни по субъективным параметрам (грубо говоря, по одаренности авторов), ни по объективным (Лиходеев писал так называемые проблемные фельетоны, а от меня требовали, чтобы к тому же в тексте были конкретные, с именами, носители каких-то людских червоточин). Но Гале мои сочинения нравились. И она говорила, что я буду работать в «Литературной газете», она это точно знает.

Прошло восемь лет. Наша семья жила уже в Волгограде. В один прекрасный день нам приносят вместо прежней «Советской печати» журнал «Журналист» – ослепительное по содержанию и профессиональному фонтанированию издание – детище Егора Яковлева. Я его проглатываю от корки до корки и говорю: «Вот где надо работать-то»...

И вот что я вам доложу, подводя некоторые итоги.

В «Комсомолке» я был.

В «Литатурке» тоже.

В «Журналисте» протрубил аж 18 лет.

Согласитесь, эти стечения любопытны. Но вот незадача: в «Комсомолке» я обрелся, естественно, в отсутствие Аджубея, в «Литатурке» – намного позже, чем оттуда ушел Сыромкомский, в «Журналисте» – когда уже там не вспоминали про Яковлева. Так вот возвращаются коварные колесики машины бытия.

Но зато! Когда в конце девяностых на волне народного недовольства вдруг взлетел «Огонек» Коротича и я стал завистливо поглядывать на окна пятого этажа, занимаемого его редакцией, однажды ко мне, на одиннадцатый этаж, в «Журналист», пришел сам Виталий Алексеевич...

Было нам везение и в том, что мы начинали и потом довольно долго пребывали в так называемой молодежной прессе, а не в «большой», партийной, где правили непосредственно обкомы руководящей и направляющей. Молодежным журналистам под предлогом их юного «недомыслия» порой позволялось то, за что сотрудник «солидной» газеты мог запросто вылететь из профессии. И не мудрено, что многие такие серьезные «органы», мало в чем изменившись с пятидесятых, в таком состоянии счастливо дотянули до застоя имени Леонида Ильича.

Мы тоже, конечно, были не светочи истины. Делали глупые вещи в силу, на самом деле, недомыслия. Помню, как я, сотрудник редакционного департамента пропаганды, собирал аж целый газетный разворот в поддержку зажигательной идеи положить на лопатки США в экономическом соревновании. Подборка озорно называлась «Держись, Америка, догоняем!» Наш художник Толя Гилёв нарисовал для ее «шапки» насмерть перепуганного империалиста, которого вот-вот схватит за фалды мускулистый и лукавый, типа нынешнего олимпийского чемпиона Дмитрия Мусэрского, спортсмен в футболке сборной СССР. В этот богоугодный промоушн (однако ведь и такого слова не было. Как жили?..) я втянул и Галю.

А еще была у нас внештатница, по-моему, ее звали Руфа. Я попытался и ее привлечь к делу. И нарвался на дикую насмешку. Руфа сказала, что США – самая великая страна. А тягаться с ней по части экономики – такое могло придти в голову только сумасшедшему. Она

говорила какие-то резоны, но я их не помню, да и слышать тогда не хотел. Мы выставили перед ней кучу цифр, набранных в справочниках, которыми плотно обложились (чуть не написал – *облажались*), но вызвали этим только смех: «Вы в это верите?»

Она потом не раз приходила в редакцию и всегда затевала с нами какой-то болезненный спор про Америку. Тогда нам было просто дискутировать. Разве не наша страна запустила первый искусственный спутник Земли? А второй? А с собакой Лайкой?..

В конце концов решили считать ее чокнутой. И успокоились.

А дальше? Что было дальше? Не в редакции, а помимо? – слышу я вопросы будущих читателей.

Я их понимаю. И сам тогда был всерьез обеспокоен темой *дальнейшего*.

Помните, лет пятнадцать назад в телевизоре появилась передача «Про ЭТО». Может быть, для того, чтоб ее не путали со знаменитой поэмой Маяковского, «ЭТО» писалось, как КПСС, прописными буквами. И впрямь, не стоило одно с другим смешивать. Если Владимир Владимирович призывал «Постели прокляв,/ встав с лежанки,/чтоб всей вселенной шла любовь», то телепрограмма, наоборот, усиленно зазывала возвратиться в проклятую поэтом постель, вновь улечься на лежанку. И заняться естественным делом, на которое людей (от них, от будущего народонаселения, представительствовали Адам и Ева) благословил (или обрек?) сам Всевышний.

Лично я благодарен передаче именно за словесное новшество. С тех пор ничего не стоит написать, что, к примеру, ученые выяснили: молодые люди про ЭТО думают в среднем 19 раз в день, а девушки – 10. Без стеснения можно донести любую информацию про... ЭТО. И мне при такой терминологии не трудно признаться, что я довольно напряженно думал об ЭТОМ. Тут важно понять. Выше приводилось наблюдение одной «совремешки»: если уж и секс сейчас не по любви... то, приведу я свое мнение, вопрос успешности или неуспешности ЭТОГО, можно сказать, ничего не значит. Ответственность нулевая. Но все совсем по-другому в ситуации «а если это любовь». Тут, бывает, на кон ставится, может быть, самое дорогое, а иногда и жизнь.

С какого-то времени я в среднем по 19 раз на дню (если, конечно, верить науке) размышлял, где же ЭТО может у нас случиться. Не забывайте, что был самый смак, самый расцвет социализма, коммунизм уже не за горами, и поэтому человек со всеми его потрохами – вера, любовь к родине, вкусы в искусстве, семейные передряги – должен быть, в идеале, под неусыпным прожектором партийно-общественного контроля. А уж что касается ЭТОГО... Бдящие бабушки, дюжие тетечки на заставах молодежных общежитий в основном остались в анекдотах и кавээновских шутках с бородой, а тогда почитались как высокоидейные стражи вбиваемой колом коммунистической морали.

Но, как это ни огорчительно для Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина и примкнувшего к ним Мао Дзедуна, даже в городе Глупово (читай, социалистическое содружество) в основном действовали не их фундаментальные установки, а брошенная в дорогу Адаму и Еве прощальная заповедь Всевышнего.

...Летним воскресным днем мы возвращались со свидания в рощице (или сквере?) позади пединститута. Дошли по улице Спартака (узнать бы имя того дурня, что когда-то переименовал ее – никогда не догадаетесь – в ...проспект Ленина) до большого дома в самом центре, где жила Галя.

– Ты помнишь, где комната, в которой я живу? – спросила Галина.

Я помнил, мы с Юрой Ершовым, нашим фотокором, были на ее двадцатисемилетии. Каким-нибудь приятным воспоминанием это не было отмечено.

– На тебе ключи, иди туда, – повелительно сказала моя подруга. – Я скоро...

И быстро смешалась с людьми «Брода», каковым здесь слыло это место.

Я пришел в коммунальную квартиру на пятом этаже. Пооглядывался. Я знал, что сына Хоку (он Саша, конечно, но я звал его Хокой, потому что его это веселило) Галя отвезла к своей маме в Донбасс. Но я еще не знал, что и ее муж уехал по своим сугубо научно-философским делам то ли в Свердловск, то ли в столицу.

Я было открыл балкон, но там, оказалось, уже шел дождь и дул холодный ветер. И тут появилась Галя, причем веселая, как никогда. Прямо с порога она провозгласила:

– Этот славный человечек весь до ниточки промок!

Я, рассмеявшись над самоопределением – «славный человечек», вдруг уловил в этих словах ритмику, захотел ее поддержать и выпалил нечто не слишком осмысленное:

– Через шесть глубоких речек

Перепрыгнуть он не смог.

– Ну и?.. – сказала Галя.

– То есть... – не понял я.

– Что там дальше-то было?

– А! – догадался я. – Тогда дай ручку.

Какое-то количество минут мне понадобилось на изложение некой дурошлепской баллады о злоключениях неизвестного мне «человечка дождя». Можно сказать, пусть один раз в жизни, но мне довелось получить своеобразное удовольствие от рождающегося экспромта – может быть, даже похожее на то, какое через много лет будет испытывать главный Импровизатор нашего времени, тогда еще не родившийся Дима Быков. Баллада заканчивалась так:

И в волнении отменном

Громогласно и восхи-

тительно и вдохновенно

Выкрикнул: «Апчхи! Апчхи!»

И, конечно, этим актом

Целый город насмешил.

С той поры неволью как-то

Я его и полюбил.

Пока я творил, Галина переделалась в нечто очень домашнее, подошла ко мне, прочитала поэзу... Рифмованное озорство завладело моим вниманием, а нашедшая на меня «поэтическая» блажь вытеснила из головы все «озабоченности» – от судьбы латиноамериканского диктатора Рафаэля Леонидаса Трухильо до туманных сомнений насчет ЭТОГО. Еще десять минут назад от тех сомнений, как от тайны трех карт у Германна, сердце было не на месте. Кто знает, может, прошли бы еще десять минут, и все опять стало бы так же, как прежде? Но в тот момент веселого спокойствия снизошла убежденность: все будет хорошо! Во всем!

Так оно и было в конечном счете. А можно сказать, забегаая вперед, и в окончательном итоге. За десятилетия жизни нетрудно накопать в памяти всякого. Но нет, не было *ни одного* случая, скажем так, раздраженности по поводу каких-нибудь осечек в перипетиях любовной игры. По крайней мере, я в них всегда был исключительно «Санечкой». И неизменно был благодарен ей и за это.

Я никак не мог найти слова, чтобы поставить точку в этой непростой для публичного разговора теме. Но, слава Богу, вспомнил, что есть стопроцентно подходящее для этого высказывание Достоевского. (Моего любимого Достоевского. Даже не писателя. Просто Достоевского. Пишу об этом в скобках, потому что, очень может быть, и вычеркну. Признание, что испытываешь «личные» чувства к великому, стало тривиальным. Хочешь ты или не хочешь, но при

этом есть элемент пусть невольного, но самовозвеличивания. Или чувства превосходства над «непосвященными».

В последние годы очень многие стали публично признаваться в любви к Чехову. И прекрасно. Галина в 20 лет заявила в статье, написанной в Литературном кружке Челябинского пединститута, что она в восторге от всей прозы Антона Павловича. Далекое не все члены кружка разделили это ее чувство. А вот когда она в 2008 году к своему сборнику рассказов «Яшкины дети» предпослала посвящение «Эта книга – дань любви всей моей жизни к Антону Павловичу Чехову», она, можно сказать, влилась в хор «френдов» великого таганрожца.

Однако стоит упомянуть и о том, что двадцатилетняя ценительница русской классики весьма прохладно отнеслась к драматическому наследию своего любимца. Но, мне кажется, это только подчеркивает независимость собственного читательского мнения от влияний извне – что в дальние челябинские времена, что в московские нулевые.)

Достоевский вошел в мою жизнь поздно. Я считаю, что получил хорошее школьное образование, но что могла поделаться школа, когда у сталинской соввласти была параноидальная цель обкорнать наши мозги, не допустить их на мировые поля столкновений мыслей, идей, чувств. В средней школе нам ничего не говорили о Достоевском. А в учебнике был один абзац мелким шрифтом о каком-то «реакционном писателе». Момент моего перехода из средней школы в высшую совпал с изменением программ обучения. В университетской истории литературы XIX века был Достоевский. И не «мелким шрифтом».

Однако я в силу уже упомянутого безалаберного отношения к учебе ухитрился пропустить лекции, когда о нем шла речь. И только в дни и ночи перед экзаменом из конспекта хорошей студентки и доброй однокурсницы кое-что узнал о великом нашем писателе.

Была у меня хорошая традиция: сдав предмет, особенно литературу, на досуге прочно укорениться в читалке и вдогонку экзамену, уже не спеша (я вообще медленно читаю), «проходить» книги, указанные в программе. Вот в таком порядке я и раскрыл «Униженных и оскорбленных». Сочинение, которое, по-хорошему, должно было бы значиться в моей жизни под грифом «Мои первые книги».

У меня нет таких слов, чтобы передать те мои читательские эмоции. Я не мог оторваться, я утащил книгу на ночь в общежитие, читал до утра, потом снова вернулся в читальный зал. В соответствии с психологическим механизмом импринтинга (впечатывания) «Униженные и оскорбленные» остались для меня образцом *художественной* литературы, творимой «для чтения», для моего, читательского удовольствия. Мне кажется, это и есть истинная беллетристика. Далекое не каждый писатель владеет даром увлекательного рассказа. Более того, не каждый великий писатель. А Достоевский владел.

Безусловно, над ним изначально тяготел фатум великого, поэтому, бывает, иногда очень хочется пропустить десяток-другой страниц не слишком *художественного* текста. Ну и пропускаем! От Федора Михайловича не убудет.

Так начался мой «достоевский запой». Вторым в нем был «Идиот».

И тут на страницу просятся с полдюжины отступлений, связанных с этим романом. Сокращаю их до минимума и постараюсь быть лаконичным.

Еще на первом курсе парень с мехмата, где учился мой ближайший школьный друг Коля Тамбулов, дал мне почитать два или три номера журнала «Клинический архив гениальности и одаренности», его издавал свердловский профессор Сегалин примерно в двадцатых-тридцатых годах. Выпуски эти сохранились в библиотеке УПИ (Уральский политехнический институт), и как уж их сумел выцарапать Колин приятель, я не знаю.

Это было удивительно интересно. Для начала, скажем, я узнал, кто такой Ломброзо. Стал читать статью о нем и нарвался на фразу (цитирую по памяти): «Как дорого обходятся евреям их гении: на каждого талантливого человека приходится сотни и тысячи невротиков и психо-

тиков». Одно время я нередко спрашивал у свойских, близких евреев: «Ты кто, невротик или психотик?» Кое-кто обижался и таким образом демонстрировал – он психотик, тем самым свидетельствуя в пользу гипотезы выдающегося итальянца.

Вообще-то этот журнал строился на главной идее проф. Сегалина: гениальность рождается тогда, когда в одном индивиде счастливо сочетаются какие-то виды психотии (доставшиеся от одного родителя) и скрытая одаренность (от другого). Но, кроме этого, в каждом номере были любопытнейшие психиатрические анализы личности и творчества известных писателей, рассказы врачей о их душевных недугах и т. п. Оттуда я и узнал, не прочитавши еще ни одной строки Достоевского, что тот страдал эпилепсией.

А скоро мне довелось увидеть эту болезнь воочию.

Каждый курс учения у нас начинался с картошки. У университета (или факультета?) был приписанный к нему Красноуфимский район Свердловской области. Было распределение функций. Район по весне засеивал поля картошкой. А убирать урожай должен был университет.

Помню, в ту осень нашему курсу журналистов выпала для постоя и сельхоздеятельности деревня Татарское Рахмангулово. Мы вдвоем с Олегом Н. были расквартированы в избе старенькой поселянки. Там и произошло неожиданное – жуткий для меня припадок у Олега. Нет необходимости описывать его. Я не знал, что делать, единственно, что предпринял, – подсунил ладони под его голову, которой, похоже, было хуже всего из корежившихся под силой неведомого недуга частей тела. Когда все кончилось, Олег, прежде чем почти мгновенно уснуть, пробормотал, чтобы я отошел подальше *от всего этого*, потому что можно заразиться, и чтобы я никому не говорил о случившемся.

Когда на моих глазах точно такое же произошло с другим моим однокурсником Веней П. (хотите верьте, хотите нет; мы тогда с ним были единственными обитателями закрытого на летний ремонт общежития), тот тоже очень просил оставить происшествие втайне. Я, поразмыслив об этом, решил, что ребята, видимо, при поступлении в вуз не сообщили о своей болезни, а она наверное противопоказана обучению каким-то профессиям. И еще подумалось: а хворь-то эта по-видимому не такая уж и редкая...

...Так вот, читая «Идиота», я понял, что Достоевский, кроме основной врожденной болезни князя Мышкина, наделил его еще и собственным страданием, правда, не называя его общеупотребимым медицинским термином. Виртуозно писатель вплетает в события романа появление то едва заметных, а то грозных предвестников нервно-психических шквалов в жизни героя. А после того, как они случаются, – раз, и в течении романа – что-то новое... Это так интересно...

Но гораздо более меня занимало другое: противостояние двух ярких женщин. Слово «занимало» тут, конечно, неправильное. Достоевский всю дорогу дергает душу: то одну до боли жалко, то другую. И злишься на князя: сделай хоть что-то! А потом и его жалеешь... больше всех...

Мы с Галей выработали примитивный, но надежный прием для личного, домашнего тестирования художественных произведений. Если в книге, спектакле, фильме нет ни одного персонажа, которого жалко, то на них не надо тратить даже маленькую часть своего времени.

И когда Достоевский нам разъясняет тонкости, резоны метаний, часто противоречивых, князя Мышкина, мы в какой-то момент начинаем понимать, что это никакой не Мышкин, а сам Федор Михайлович. И тогда...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.